

АНДРЕЙ

ТАРАСОВ

ОБОЮЩА РАЗУМА



АНДРЕЙ ТАРАСОВ

ОБОЮЧКА РАЗУМА

ПОВЕСТЬ



МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1986



Н

екий доктор Рыжиков приставил свой велосипед к скамье и огляделся.

Оркестр уже гремел «Прощание славянки».

Гудело множество людей.

Их тогда было гораздо больше. Их век был в разгаре, хоть и сильно урезанный смолоду железом и огнем. Что не помешало им в это утро быть уже под газком — как положено. Отчего и приподнялся тонус встречи, даже если встречались соседи. При объятиях с маху чокались знатные ордена и рядовые медали: «Знамя» со «Звездой», «Отвага» с «Будапештом», «Берлин» с «Ленинградом»... Боевой перезвон.

Наград — с большим избытком. А рук и ног — недокомплект. По мокрому асфальту утрённо-бодро стучат протезы, палки, костыли. Коляска с безногим упорно пробивается сквозь массу к плакату «Ветераны бронетанковых и мехчастей». Во всех концах сзывали пехоту и летчиков, артиллерию и саперов. Даже кавалеристов, уж на что лошадей позабыли.

Только доктора Рыжикова никто не созывал. Потому он стоял в неприкаянности, высматривая где-нибудь таких же одиноких, как он сам.

— Чего стоишь? — сказали вдруг ему. — В строку попасть не можешь?

Доктор Рыжиков всю жизнь со всеми только «выкал». А с ним всегда сразу на «ты». Такое задушевное доверие он вызывал у незнакомых людей. Может, зеленым всепогодным плащом из клеенки, под путевого обходчика. Может, серым

беретом, некогда принципиально голубым. Может, просто лицом.

— Тогда давай, садись! Захватывай НП!

Доктор Рыжиков захватил. Пригласивший был незнакомым, длинным и жилистым, кого в народе зовут «мослом». Городская шляпа, вытянутое костистое лицо, впалые щеки, выцветшие, как рыжиковский берет, но цепкие глаза. Ими он несколько раз измерил нового соседа. Он тоже был одинок и сочувствовал одиночеству.

— Десантникам почет и уважение. А где твой второй?

Доктор Рыжиков приятно удивился, что нашел тут признание. Но машинально спросил:

— Какой — второй?

— Ну усатый, котюра твой толстый... С которым афишку вы носите... Я-то вас тут каждый раз вижу. Не помер, слушаем?

— Как — помер? — чуть не кинулся куда-то доктор Рыжиков, но заставил себя остаться. — Да нет... — сказал он, правда не совсем решительно, опасаясь пронизательности соседа. — Почему помер?

— Да почему помирают... — философски пояснил сосед. — Срок выходит, вот и помирают... У нашего брата как: с виду такой бугай, вроде твоего, а внутри живого места нет... Я его еще где-то видел, клише вроде знакомое. Только вспомнить не могу. В газете про него писали?

— Может, писали давно, — вежливо ответил доктор Рыжиков, поняв, что речь в философском, а не конкретном смысле. — Он вообще-то тренер по боксу...

— А-а... — зауважал сосед. — Тогда снимаю шляпу. А я тогда из артиллерии. Триста десятый гаубичный резерва Главного Командования и тэ дэ. Ну и хорошо, что не помер. А то помрет — один останешься с афишкой своей. Прямо смотреть жалко. Вас, десантников, наверно, меньше всего и осталось. К черту в пасть прыгать — это же прямо на шило ему... И во всем городе было вас двое? Никто больше на афишку не пришел?

— Приходили, — сказал доктор Рыжиков. — Но мало. А постоянно только мы...

— Десантник есть десантник, — сочувственно поддакнула артиллерия. — Это я ничего не скажу. Мы-то живьем немца мало видали. Но «юнкеры» давали нам просра... Как вспомню, так вздрогну... Наших куда больше, гаубичников. Вот у нас кого погибло — это противотанковых. Как выставят на прямую наводку... Это я тоже сниму шапку... Я их вблизи

только в сорок первом видел. И то издали. Как из окружения карабкались. Нам командир дивизиона, царство ему небесное, приказал пушки взорвать и на Бобруйск топать. А комбат, царство ему небесное, старший лейтенант, говорит: сам приказал и ускакал, убьют где-нибудь, потом этот приказ не сыщешь, а меня за эти пушки трибунал расстреляет... Ну, мы и впряглись. Все по болоту да по болоту. Сперва на лошадях, потом на себе... Пушка-то полковая, это тебе не пулемет. Чистый фельетон. Уже и комбата убило давно. Сперва ранило, мы на плащ-палатке к пушке привязали, потом голову осколком срезало... Немец на восток по шоссе движется, а мы туда же, только по болоту. «Мессеры» как налетят... Он на шоссе, сволоочь, галеты бросал с самолетов, выманивал: мол, выходите, сдавайтесь. А на нас, на болото, бомбы и листовки, бомбы и листовки. Выходи, моя черешня. Ну не сукин ли сын? Как вспомню, так спину заломит. Постепенно одна пушка осталась, остальные утопи. Уж мы ее и толчком, и на канатах... Морды обросли, белье сопрело... Пьем из болота, у всех понос кровавый... А он в листовках поливает: зря тужитесь, уже Москву взяли... Видал? А сам только еще под Смоленском чешется. Ну не нахал ли? Да еще врет: у своих всем вам картога и Сибирь, а здесь кормить и поить будут даром. Ну мы днем отлеживаемся, думаем: ничего, если с пушкой заявимся, скостят нам, не в Сибирь турнут, а снова на фронт. Уж мы тогда ему... Может, и командир дивизиона где уцелел, подтвердит про приказ... Только болото, дом наш родной, кончилось, впереди железная дорога и речка. И как хочешь. Хочешь — с немцем под ручку по понтону ее тащи... Ну, закатили мы ее в кустарник на сопочку и думаем, как употребить. Последний снаряд держим. Пушку ли им взорвать или по понтону садануть? А они по понтону идут, зубы скалят. Друг другу пинки весело так дают, будто нас уже и нет. Вот это нас заело. Так-то боязно, ведь сразу засечет. Кинется как овчарка. Сколько мы этих прочесов видели — огромные они специалисты. Но уж больно заело, что они такие наглые. Так куснуть захотелось — спасу нет. Всех тогда отпустили до выстрела, время дали, чтоб разбежались, а мы с сержантом навели. Перекрестились и... Он только полпонтон пролез, а ему — бах по башне. Башню как корова языком — раз! — и на транспортер закинуло. Как клопов их там придавило. Ну, забегали, запрыгали... Мотоциклисты, танки-броники в линию развернулись, и с фронта, и с фланга охватывают... Огонь из всех стволов, а нас-то всего... Смех, и только. Смех смехом, а драпать пора. Сержант говорит: вперед, к речке. Я — назад,

к болоту. Как к мамке родной. Ну ладно, он рукой махнул, пригнулся и по кустам, по кустам, вперед, на восток. А я замок вытащил — и по кустам, по кустам, вперед, на запад... Плюх его в болото — и по кочкам, по кочкам. Во счастье — никакой тебе пушки, сам себе начальник... Больше с сержантом и не увиделись. Может, еще живой где? Как ты думаешь? Да ты уснул, десантник? Со смены, что ли? Я говорю, а он дрыхнет...

— Да нет, я слышу... — с усилием открыл глаза доктор Рыжиков, сладко пригревшийся на утреннем солнце. — Может, и жив...

Он-то был уверен, что не спит, потому что все слышал и еще успевал думать, сколько такого у каждого, кто сейчас толчется на пяточке сквера фронтовым локтем к локтю. Сколько заштопанных дырок на коже, от головы до пят, прикрыто сейчас этими выходными костюмами, отглаженными женами и дочками на истинно мужскую встречу. Не считая отмороженных почек, сорванных нервов, измученных сердец. Да редко найдешь голову без трещины и вмятины — сколько доктор Рыжиков их пересчитывал своими руками...

Вот так и думаешь: просто сосед — здесь, на лавочке, в автобусе, в очереди за молоком. А он каждый — со своим последним выстрелом, которым прощался с жизнью. Самую малость только недопростился.

Таково свидетельство, что доктор Рыжиков не спал.

— ...А почему я один? Вон они, наши, толпятся, — артиллерист показал на шумную группу своих. — Потому что я им так и сказал: если будет как в тот раз, и близко не подойду. Ну их к богу. Это как называется? Сбросились все одинаково. А как садиться — так крупные погоны в отдельный кабинет. И тосты к нам выходят говорить. Как артисты на сцену, из-за занавески. К лейтенантишкам, значит, старшинам, ефрейторишкам. Выскажется, пожелает долгих лет — и обратно за занавес. Я подполковнику Шишко и говорю... Подполковника Шишко знаешь? Начальник небольшой, но в любой президиум втереться норовит. И тоже с речью вышел. И только обратно за занавес — я встал и говорю: «Постойте-ка, товарищ подполковник запаса. Может, мы, рядовые, тоже вам хотим речь сказать. Вот вы тут про боевую дружбу очень красиво говорили. А почему теперь от этой дружбы исчезаете? Едрено шило! Почему от нас за занавеской загородились? Или мы плохо пахнем?» Он даже рюмку выронил. Так наши же энтузиасты на меня зашипели: ты, мол, если пить не можешь, сиди, не высовывайся! При чем тут «пить»? У нас всегда так: чуть что — пить не умеешь. Один сиди пей. Ну и

буду один, говорю. Нет, деньги внес, все чин чином. Чтобы не думали, что жмусь. А чтобы поняли, что у рядовых тоже гордость должна быть. Или давайте по-людски, чтобы без разделения, как у танкистов, или я там не участник. Найду, с кем отметить. Если бы мне Клавку не разорвало, вообще бы горя не знал. И стол, и закуска, и все... Правильно, едрено шило? Ты-то сам в каком звании? Спишь, что ли? Опять задрых десант... — Острый локоть бомбардира ткнул доктора Рыжикова в ребро.

Доктор Рыжиков с трудом оторвал подбородок от груди, еще более пригретой майским солнышком.

— Десант? А-а... Почему сплю? Думал... Я ефрейтор.

— Ну, если думаешь, тогда скажи: правильно?

— Что — правильно?

— Ну что хлеб-соль ешь, а правду режь.

— Все мы немножко лошади... — сочувственно вздохнул всей грудью доктор Рыжиков.

— Вот именно — кони, — согласился с таким странным суждением артиллерист. — Когда они сытые, они бьют копытами... Может, и мне орать нечего было... Сколько наших уже и не поорут ничего! Чаше вспоминать надо, тогда и сами не такие крикливые будем...

Было не очень понятно, про себя артиллерист или про тех энтузиастов, которым он пришелся не к столу.

— Я говорю — народ жалко. Сколько его пострадало! А кто остался — сколько крови насмотрелся! И ничего — смеются, радуются... Как с гуся вода. Я иногда поражаюсь. Хоть сейчас на передовую. А иных еще от боли крючит. Сам-то с ранением?

— Нет, — сказал доктор Рыжиков.

— Десантник — и не раненый? Повезло, выходит. И не царапнуло?

— Контузило, — сказал доктор Рыжиков.

— Тоже не мед, — признал сосед. — Мы в артиллерии все контуженные. Через одного без барабанных перепонок... Как выстрел — так тебя вроде палкой по уху... Да это каждый со своей приметой. Смотришь, рожа красная, как пирог подгорелый, — значит, летчик или танкист... Горел в бою. Я вчера в полосе про одного читал. К нам в город приехал, подпольного врача искать.

— Какого? — встрепнулся доктор Рыжиков.

— Подпольного, какого... Не слышал, что ли?

— Не слышал... — честно сказал доктор Рыжиков.

— Вроде не с луны свалился, в городе живешь, — осудил

артиллерист его неведение. — Весь город талдычит. Его профессора зажимают, которые завидуют, а сами ничего не могут. Так он без них, без их рецептов, нашего брата фронтовика это самое... выхаживает. Уж они его и так хотят, и так... На прицел взять, да руки короткие. Найти не могут.

— Кто? — спросил доктор Рыжиков.

— Да профессора же! Ты что, совсем выключенный? Не нравится он им. Зато теперь это кончится. Все. Теперь им шло в задницу, вот летчик специально приехал всю правду рассказать. Теперь его самого профессором заделают, раз газета написала.

Доктор Рыжиков слушал со все возрастающим изумлением. От сонливости и следа не осталось.

— Летчик здесь? — никак не верил он. — Так быстро?

— А чего тянуть? — ничуть не удивился артиллерист. — У него это как на ротаторе. Потому что способ знает. Этот летчик сущий дуремар был, как говорится, Квазиморда. Хоть и геройский человек. Разбился в самолете, лицо вмятку. Никто не мог выправить, мать родная не признала, жена отказалась. Ну, никуда ходу нет. А наш взялся. Новую рожу смастерил, ты понял? Вот он в День Победы вернулся благодарность объявлять. Я лично прочитал.

— А у вас нет газеты? — осторожно спросил доктор Рыжиков.

— Не, я на верстке читал, по металлу. Навыворотку, ты так не сладишь. Вот он где-нибудь здесь небось, на трибуне. Почетный гость, герой. Придет же искать доктора среди нашего брата... Он его людям и покажет.

Доктор Рыжиков сперва вытянул шею, сился разглядеть стоявших на трибуне, потом втянул ее, как бы сам прячась.

— Теперь не спи, — подбодрил бомбардир. — Он как его узнает, встреча начнется. Я это очень уважаю... Смотри, начинается!

— Товарищи ветераны, фронтовики! — Густой и сочный голос с характерным прихрипом от многих сотен военных команд пронесся над орденами и медалями, над нежной майской зеленью, над мирными крышами, над затаившим дыхание городом. — Боевые друзья! Городской совет ветеранов от всей души рад приветствовать славных ветеранов в честь ваших славных подвигов, совершенных в честь...

Видит добрый майский бог, что председатель митинга немного запутался в славных ветеранах и славных подвигах и некоторое время потратил на то, чтобы с честью продвинуться дальше. Но ветеранам всегда больше нравилась задушевная

речь, чем казенное чтение по бумажке, поэтому они одобрительно заурчали. Кроме, наверное, артиллериста.

— Опять небось про Кенигсберг ни слова! — ревниво опередил он ход событий, не в первый раз слушая это вступление. — Про Берлин и Прагу всегда скажет, а Кенигсберга как не было. Вот увидишь! Сам-то где кончил?

— Под Веной, — сказал доктор Рыжиков. — У нас и дивизия Венская. И корпус...

— Значит, не в Кенигсберге... — немного разочаровался в нем сосед, многих, наверное, меривший Кенигсбергом. — Но где-то я твоего усатого видел. Где-то видел... Это уж как заело, если вспомнить не могу... Кто же из них летчик-то будет? Может, хоть он под Кенигсбергом был? Ты как думаешь? Или опять спишь?

Теперь-то доктор Рыжиков точно не спал. Теперь он искал летчика среди почетных гостей на трибуне, но делал это так, чтобы самому не попасть на глаза.

Он искал летчика, но не мог найти, потому что никогда его не видел. Тут многие бы удивились — разве можно чуть не год смотреть на человека и не видеть его... Но доктор Рыжиков был прав — он никогда не видел летчика в его окончательном виде. И кто из людей на трибуне, за спиной председателя, есть больной Туркутюков, решить пока не мог.

Строго говоря, все почетные гости там выглядели вполне здоровыми. Просто в привычке врачей даже давно здоровых спустя многие годы называть «больными». «Вчера видел больного Сидорова». Хотя Сидоров, здоровей всех здоровых, нес на спине бельевой шкаф. Или: «Завтра хоронят больного Васильева». Хотя какой же изверг решится хоронить больного...

— А сны тебе про войну снятся? — осведомился вдруг артиллерист.

— Сны? — Это был новый поворот. — Сны — нет... Один сон.

— Один?! — Артиллерист очень заинтересовался соседом. — Смотри ты, случай! И мне один. Сколько всего намолотило, а выходит — только один. И то...

По лицу пробежала кривая усмешка привычной застарелой боли, и он осекся. Доктор Рыжиков посмотрел повнимательней — как всегда, когда замечал признак боли.

— Что снится-то? — спросил артиллерист как собрат у собрата. — Веселое или дурное? Может, тебе хоть повезло? А то у меня хорошо начинается, но конец в хвост вылазит. Никак в рамку не попадет... А у тебя как?

Как в дурном сне...

— Не приведи господи, если кто встретит... — прикрыла рот ладонью медсестра Сильва Сидоровна. — Весь город распугает!

Да, было дело. В палате летчика Туркутюкова — скомканные простыни, разбросанные туфли, забытый халат. Следы бегства или похищения. И — ни в уборной, ни в столовой, ни в закоулках коридора.

— А дежурная где? — заметил он еще одну пропажу. Уж дежурная должна знать как пить дать, что тут нужен глаз да глаз. Что больной боится то посторонних глаз, то своей заупоренной комнаты, где сначала сам требует герметично закрыть окна и двери.

— Может, совратила и оба убегли? — не скрывала своей застарелой приязни к дежурной врачихе праведная Сильва. Она и подняла доктора Рыжикова по тревоге, ворвавшись к нему в дом. И спасла бедой от беды.

Он только пропедалил через полгорода домой в приятных сыроватых весенних сумерках. И первым его встретил Рекс. Огромная овчарка темной масти, с могучими лапами, мощнейшей таранной грудью, рыцарской мордой и саблеподобными клыками. У Рекса было множество достоинств и только один-единственный изъян. Он был патологический трус, вызывавший у мальчишек всей улицы приступы издевательского смеха, когда при приближении соседского кота, поджав хвост, терся о рыжиковскую калитку. Любая такса наводила на него кошмар и ужас. Зная свой этот грех, Рекс давно не выходил на улицу. Он чувствовал всеобщее презрение. Единственным же, кто его жалеял и понимал, был доктор Рыжиков. Поэтому Рекс встречал его всегда со слезами радости.

Втолкнув в сарай облизанный велосипед, доктор Рыжиков еще с веранды, снимая туфли и плащ, уклоняясь от мокрого и преданного носа, услышал из большой общей комнаты чужой назидательный голос:

— В наше время без телевизора жить просто несовременно. В конце концов, он способствует интеллектуальному развитию! Возьмите передачи «Час науки», «В мире животных»... А эстетическое воздействие! Фигурное катание — это такое наслаждение!

Голос был женский и привыкший к почтительному вниманию. Доктору Рыжикову стало интересно, кто там поучает его безалаберных дочек. На телевизор он пока не накопил, и как

бы там девочки чрезмерно не расстроились. Чтобы по возможности их успокоить и напомнить, что форма существования белковых тел, именуемая жизнью, возможна и без телевизора, как была возможна до радио, трамвая и даже до газет, он перешагнул порог.

Незнакомая дама сидела на знакомом месте, на его собственном. Определенный стиль: дорогая кофта из пушистого мохера, колечко со скромными камушками. Маленькие желтые сережки. Если бы доктор Рыжиков хоть чуть разбирался в камнях и металлах, он насчитал бы на даме минимум три-четыре телевизора. По тем еще ценам, конечно. Но при всем этом она хотела выглядеть скромной. И чтобы всех это восхитило. Ну так — значит, так. Все были вполне согласны.

Дама тоже никогда раньше не видела доктора Рыжикова. Поэтому, когда он вошел, еще не сняв линялого берета (еще не такого линялого, а на целый год голубее) и не отцепив от штанов бельевые прищепки, она через плечо скользнула взглядом и отвернулась к обществу. Это был явно какой-нибудь слесарь-сосед. Или шофер санитарной машины. В общем, что-то такое, за что всегда принимали доктора Рыжикова.

Не удостоенный ее кивка, он так и прошел на кухню мыть руки перед едой.

Остальное общество за круглым семейным столом было ему более чем знакомо. Студентка юридического факультета, почти прокурор, а может быть, и почти адвокат, так же как, может, и безобидный инспектор ОБХСС, Валерия Юрьевна. Старшая дочь. Две Юрьевны — Анька и Танька — школьницы постарше и помладше. Их разбавлял аспирант-культурист Валера Малышев, по-старинному выражаясь, ухажер Валерии. Но от старины в наше время совсем ничего не осталось: ни существа, ни слов.

Все это молодое общество с огромным интересом смотрело на даму, которая чувствовала себя уверенно.

— Долго же задерживается ваш папа, — посмотрела она на часики. — Может, он нашел себе новую маму?

Ее игривый тон сразу все испортил. Анька с Танькой отвернулись, Валерия, наоборот, уперлась даме в переносицу холодным взглядом. Валера же Малышев почтительнейше предупредил: «Вот же он...»

— Пардон, пардон. Я так неловко пошутила... Моя фамилия Еремина.

Она так подала руку, что ее можно было понять протянутой и для пожатия, и для почтительного поцелуя. Доктор Рыжиков выбрал товарищеское рукопожатие. Видно, с его

стороны это было не слишком, так как она сочла нужным до-
бавить:

— Жена товарища Еремина.

Анька с Танькой за ее спиной делали знаки. Если бы люди знали, что за их спиной всегда кто-то может делать какие-то знаки, — например, важно надуть щеки и вытаращивать глаза, а то еще рисовать пальцем на плече генеральский эполет, — они бы, как уже давно доктор Рыжиков, опасались без оглядки называть свой обозначительный титул. Врач... Поэт... Председатель... Жена товарища Еремина... Лично он в таких непроясненных случаях представлялся как гвардии ефрейтор Рыжиков.

Ну как угодно. Жена так жена.

Она немного выдержала паузу, видно дожидаясь, когда до него дойдет, чья она жена, и тихо попросилась поговорить с ним.

К доктору затем и приходят, чтобы с ним говорить. Пытаясь вспомнить, кто такой товарищ Еремин, доктор Рыжиков одновременно решал, куда бы удалиться для разговора с его женой. Уединенным местом был, например плотницкий сарай во дворе. Веранда, где грыз заскорузлую обувь храбрый Рекс за неимением более серьезных врагов. Домашний кабинет, он же мастерская и спальня доктора. Но везде находилось какое-нибудь неудобство. В кабинете, например, скопилось слишком много черепов. Это могло быть неправильно понято. Оставалась комната Аньки с Танькой.

Но на пороге он сразу раскаялся. Зрелище было, как всегда, вопиющим. По углам комкались трусики и колготки разных цветов, одеяла скручены — недавно ими дрались, в самом центре из ночного горшка вверх ногами торчала кукла.

Он выругал свое серое вещество, которое до сих пор держит в клетках устройство всех систем противопехотных и противотанковых мин, структуру армий многих наших вероятных противников, целые статьи боевого устава воздушно-десантных войск и не может запомнить, кто такой товарищ Еремин, а также что представляет из себя Анькистанькина светелка.

Доктор Рыжиков успел только ударом ноги загнать под кровать горшок с куклой и схватить одеяла с пола. Дальше его схватили за руку, и он почувствовал на ней слезы: «Доктор, я так несчастна!»

Счастливые врачей не посещают.

Есть же на свете работы, где встречаешь только счастли-
чиков.

Из общей комнаты донесся взрыв смеха. Очевидно, Танька передразнивала жену товарища Еремина или Валера Малышев снова рассказывал, как аспиранты вроде него, культуристы и математики, задают своему киберу идиотские вопросы. Это было их обычное развлечение за ужином. Анька с Танькой тоже упражнялись в придумывании идиотских вопросов и превзошли в этом не только аспирантов, но и кандидатов наук. И подбирались к докторам.

— Доктор, спасите нам сына! — всхлипнула жена товарища Еремина.

Доктор Рыжиков поразился, как она владела собой, когда рассказывала про пользу телевизора. И тут же его осенило, кто такой товарищ Еремин. Он ведь сам записывался к нему на прием, но не как к врачу, а как к городскому начальнику. Чтобы внести предложения по улучшению медицинского обслуживания населения. Но Мишка Франк его образумил и обозвал идиотом. Такие дела так не делаются. Для начальника все жалобщики, сидящие в очереди у него в приемной, — сумасшедшие. Какие у них могут быть идеи? Идеи излагаются в официальном письме, с подписью главврача, зарегистрированные где надо как рассмотренный специалистами документ... «Ну да, — сказал тогда доктор Рыжиков умному Франку. — Наш дед скорее удавится, чем для кого-то подпишет...» На том дело и кончилось. Так доктор Рыжиков и не дошел до товарища Еремина.

— Его... — она всхлипнула горше, — признали умственно отсталым. Не могу даже выговорить...

Вот так. Кому на Руси жить хорошо...

— Дебилем? — осторожно уточнил доктор Рыжиков, и она даже вздрогнула возмущенно, хотя в данном случае здесь не было никакого оскорбительного смысла. — Или олигофреном?

— Да... — хлюпнула она в раскрытые ладони. — Из четвертого класса... В школу умственно отсталых...

Доктор Рыжиков представил, какими муками учителя доплатили сына товарища Еремина до четвертого. И снял берет перед подвигом неизвестного учителя. На плачущую мать он просто боялся смотреть. Легче было запустить руки в любую кроворазверзшуюся рану.

— Для Петра Константиновича это такой удар... Он у нас всегда такой ласковый, такой послушный... Петр Константинович не хочет второго ребенка, у него служебный долг...

В общей комнате снова взрыв хохота. Наверное, Валера

Малышев сказал, как кибер на вопрос, что было раньше, курица или яйцо, ответил, что раньше было и мясо.

— Я, конечно, могу посмотреть вашего сына, — со всей присущей ему сочувственной мягкостью сказал доктор Рыжиков. — Если вы захотите. Но вы должны знать, что у меня другая специальность. Я хирург. Если бы нейротравма или опухоль...

— Доктор! — чуть не сломала она заломленные пальцы. — Может быть, правда опухоль? Мы согласны на любую операцию! Нам сказали, вы можете! Вы только посмотрите, может быть, просто опухоль!

— Понимаете, — мягко воззвал к ее сознанию доктор Рыжиков, — врожденное слабоумие не лечат хирургически. Это невозможно. Вам надо...

— Почему это врожденное! — шепотом закричала она. — Это все школа с ее дурацкой программой новой! Еще учителей надо проверить! Может, там над детьми издеваются! Никакой мозг не выдержит! Нет, нет! — схватила она докторский рукав. — Только не говорите «нет»! Лучше ничего не говорите! Я этого не вынесу!

Доктор Рыжиков открыл дверь: «Воды!» Таблетки у него всегда были с собой в пистончике. Для родственников. Не своих, конечно, а ждущих конца операции.

— Из-под крана? — хлюпнула носом в стакан жена товарища Еремина. — Извините меня, я расстроилась... В школу слабоумных... Скажите, это на всю жизнь? Или есть хоть какая надежда? Мы согласны на любые траты, только скажите...

Траты, мысленно сказал ей доктор Рыжиков... Траты будут в том, что придется по выходным, а иногда и в будни посещать на служебной машине интернат умственно отсталых детей. И там среди взрослеющих толстоватых плаксивых мальчиков и девочек находить своего сына. Вытирать ему рот и нос, угощать вкусеньким. Играть с ним в красный мяч в игровой комнате. Петр Константинович снова научится пускать мыльные пузыри. Будет ловко протыкать им перламутровые бока своей авторучкой... И будет счастлив, когда сын засмеется своим странным пугающим смехом. И мать будет счастлива. Вот все издержки для начала. Если так можно выразиться.

Но вслух он сказал:

— Я могу кипяченой. Только она горячая...

— Не уходите!

Слушать мольбы о помощи входило в его профессиональ-

ные обязанности. Научиться на них с
жен талант. Всегда есть ответ честный: «Операция
поможет». И ответ более или менее честный: «Сделаем все,
что в наших силах». На честном ответе редко кто настаивает
сначала. Жена товарища Еремина тоже. Лишь бы сейчас не
наглухо. Хоть какой-то просвет. От просвета к просвету жить
можно. Она умоляла его что-нибудь обещать. Ну хотя бы сде-
лать все, что в его силах.

От обещания доктора Рыжикова и спасла Сильва Сидо-
ровна. Она вдруг появилась, костлявая как смерть, с синева-
тым истовым лицом, как будто навсегда окостеневшим. Она
здесь никогда почти и не появлялась, считая отдых доктора
Рыжикова священным. Она сурово осуждала людей, покушав-
шихся на него, и могла встать перед радиатором «студебек-
кера». Но тут что-то вышло за рамки.

— Юрий Петрович, — проскрипела она, — Туркутюков
исчез.

3

Если бы родители, давая имя, могли заглянуть наперед...

Папа Сидор увидел бы свою девочку выросшей, чтобы по-
пасть под колесо войны. Санитарка на передовой, полтысячи
вынесено на себе под огнем, по траншеям и воронкам. Три
ранения, в том числе позвоночника. Несколько операций, в
том числе уже после войны у доктора Рыжикова. Медсестра в
медсанбате. Муж-лейтенант, один из погибших за Берлин.
Окостеневшее вдовство, иступленная работа в больнице
между своей болью и чужой кровью. Запавшие глаза в глу-
боких черных ямах, пересушенная пергаментная кожа. Ни
одного намека на улыбку за много лет.

Если б могли — не назвали бы Сильвой. Усовестились бы.
Но в те восприимчивые времена в именах царяла оперетта, и
папа Сидор не устоял. Вот откуда взялась Сильва Сидоровна.

Дежурным врачом была рыжая кошка Лариска, которую
боялись буквально все. Она была начинена огненным перцем.
Она могла все, даже совратить Туркутюкова. Однажды она
деду Ивану Лукичу (Ивану Грозному) брякнула, чтобы он
тщательней проверял трусики своих внучек, а не выслеживал,
с кем стоят на лестничной площадке подчиненные ему вра-
чихи. Иван Грозный смог только раз открыть и закрыть рот.
Рыжую Лариску спасала лишь невероятная ловкость рук.
Не в чем-нибудь таком, а в сшивании почти невидимых,
упруго-скользких сухожилий и нервов, деле ужасно пудном и

выводящем из себя самых долготерпеливых. Она этим и пользовалась.

— А вы-то тут чего офонарели? — услышали сзади себя доктор Рыжиков и Сильва Сидоровна.

Это и был стиль рыжей Лариски.

— Гадаем, куда вы сбежали, — ответил доктор Рыжиков пока еще миролюбиво.

— Домой, — без замешательства ответила она. И даже пояснила: — Мой мужик утром в командировку намылился. На сборы. Осталась последняя ночь его выжать. Чтоб он там не шелудил.

Муж у Лариски был мирный и добродушный борец-великан, не помышлявший ни о чем таком не только с посторонними дамами, но и с женой.

— У вас, пока вы бежали, больной исчез, — сказал доктор Рыжиков буднично.

— Хотя бы они все исчезали, — ответила Лариска не моргнув. — Красавцы ваши. Куда же он исчезнет! Его в дворянское гнездо забрали. Ядовитовна сама явилась, развилялась хвостом. Он, что ли, большой шишкой оказался, Герой Советского Союза. Она не перенесла. Своих завмагов ей мало.

Доктор Рыжиков шлепнул себя по лбу: соображать надо.

Где как, а здесь не удержались. Отгородили сусек для местных выдающихся больных. Чтоб не томились в обществе простых нечесаных. Кадки с пальмами, мягкие ковры, телевизор, особые улыбки персонала.

— Ну он им там ковры пооблюет...

Это все та же Лариска, так как Сильва Сидоровна молчала, лишь отворотом головы выражая полное неодобрение ее распушенности.

Да, там такого соседа не одобряют. Ни завбазой «Росторг-одежды», слегший с панарицеем на указательном пальце левой руки. Ни директор «Обувьторга», у которого малость скакнула кислотность после ревизии на складах и прилавках. Ни главный товаровед горкниготорга, схвативший легкую форму нервной экземы, наоборот, перед ревизией в подписных отделах. Ни главный художник Дома моделей, получающий цикл общеукрепляющего массажа. Ни уважаемый товарищ из горжилотдела, ни почтенная дама из горконцерта...

В общем, здесь за час-два было легко договориться о паре югославских туфель, польском пальто, ящике марокканских апельсинов, финском спальном гарнитуре, подписке на Жорж Санд, билетах на Пьеху, гэдээровских обоях и прочем смысле